

*Роджер Смит\**

### **История и история наук о человеке: чей голос?**

Вопрос «Чей голос?», или «Кто говорит?», с его ницшеанской каденцией, я понимаю как вопрос о целях и власти науки: о влиянии на человекознание отдельных дисциплин — социологии, истории науки и философии, — а также о том, каким образом и в каких терминах формулирует свое знание каждая дисциплина. Этот вопрос переключает внимание с содержания знания на цели, с которыми нечто провозглашается истиной; иначе говоря, в вопросе о голосе подразумевается, что истина может быть уяснена только с учетом этих целей. Для меня как автора чрезвычайно амбициозной «Истории наук о человеке» вопрос «Кто говорит?» — и общий и личный<sup>1</sup>. Поэтому тот голос, который я описываю в статье, есть в то же время мой собственный и, до некоторой степени, голос историка вообще.

Ясно, что говорить о такой обширной и разнообразной области как история довольно трудно, и в особенности трудно — об истории наук о человеке, где пересекаются социальная, политическая, экономическая и культурная истории (которые я буду в дальнейшем называть магистральной областью) с интеллектуальной историей и историей науки<sup>2</sup>. И все же, как бы не расходились между собой историки по их методологии, подготовке, интересам и предметам исследования, их объединяют общие ценности —

---

\* Роджер Смит (р. в 1945 г.) — историк науки, почетный ридер университета Ланкастера (Великобритания) и научный консультант Института истории естествознания и техники РАН.

приоритет, отдаваемый первоисточникам, и контекстуальная интерпретация документа. Эти же ценности отдаляют историков от той теоретической работы, которая идет сейчас в литературоведении и культурологии. Историки вряд ли признают ценность теории, если эта теория, например, отрицает существование их предмета — объективного прошлого. Попытки диалога между историками и теми, кто называет себя постмодернистами, оказались бесплодными и беспредметными<sup>3</sup>. По иронии судьбы, позицию историков лучше всего выразил теоретик литературы, Фредерик Джеймисон. «История, — пишет он, — как основание всему и горизонт, за пределы которого мы не можем проникнуть, не нуждается в каком-либо теоретическом обосновании. Можно быть уверенным, что, даже если мы хотим забыть о ней, она заставит нас осознать свою необходимость»<sup>4</sup>. Я не хочу сказать, что историки всегда готовы забыть, что прошлое существует в виде текстов или отраженных в тексте артефактов. Я имею в виду другое: историки понимают тексты и артефакты как относящиеся к объективно существующему миру, как «повествующие о» некоем таком мире. Это сильно влияет на стиль их письма, и от этого отчасти зависит кажущийся атеоретический характер их работ.

Говорить о такой разнородной области как «история» без определенных предпосылок невозможно. Согласно одной философской точке зрения, которая как и история, имеет долгую традицию, история — это самопознание человека, а значит, она определяет человеческое бытие. Вико считал — эта его идея стала особенно известной в наш век — что человек может с уверенностью знать лишь то, что сам сделал. Ясное знание о природе, которую не он сотворил, невозможно, и поэтому единственной настоящей наукой о человеке может быть только история<sup>5</sup>. Миссия истории, согласно Вико, — с помощью исследования языка и символических репрезентаций добыть знание о том, как человек создает самого себя. В соответствии с этим, историцистская философская антропология, начиная с Гердера, Гегеля и Маркса, понимала под «историей» не «прошлое», а самого человека. Этот исторический голос существует и сейчас. Хотя Фуко относился к философской антропологии свысока и стремился разрушить ее стиль, он-таки пользовался голосом историка, в частности, для обсуждения изменчивых условий истинности в дискурсе о человеке<sup>6</sup>. Другие авторы еще ближе подошли к отождествлению науки о человеке с историей. По их мнению, вообразить человеческое существо, чья природа не была бы исторической, можно толь-

ко если верить в миф о конце истории. Но историцизм, как считают некоторые, ведет к тому, что любое обсуждение голоса историка становится чрезмерно общим и усложненным.

Однако к концу девятнадцатого века между историей понимаемой как процесс самосоздания человека, и историей как *дисциплиной* — то есть, письменной фиксацией прошлого — намечился разрыв. Этому способствовало превращение истории в академическую дисциплину и стремление незадолго до этого обособившихся социологии, лингвистики, антропологии, политических наук, экономики и психологии использовать строго эмпирические методы<sup>7</sup>. Ставшая академической, история своим предметом положила действия людей в прошлом. Причем прошлое понималось не как часть бытия человека, его «свобода», а как внешнее по отношению к нему измерение, как обуславливающая человеческую жизнь «необходимость», принадлежность физического универсума. Хотя эволюционное мышление и сделало прошлое внутренней стороной человеческой жизни под видом наследования, последнее понималось не как черта свободного существа, а как физическая наследственность. Психология и социальные науки присвоили себе человека — предмет, который готова была им уступить новая дисциплинарная история. В англоязычном мире в особенности эти науки переосмыслили человека, сделав его частью природы и предметом позитивистского эмпирического знания. Когда же о прежнем проекте философской антропологии, пусть и в модернизированной форме вспоминали, то историки, как правило, не узнавали в нем истории, а социологи — социологии<sup>8</sup>. Возникновение академической дисциплины еще более обнажило разрыв между абстрактным исследованием человека как исторического существа и академической историей как изучением конкретных обстоятельств и действий людей в прошлом. С точки зрения академической истории, в исследовании человека философия уступала эмпирическим исследованиям контекста и необходимости.

В связи с этим я хочу сказать о характере голосов, существующих или возможных в пространстве между академической дисциплинарной историей и философским проектом познания человека. Эти мысли имеют отношение к проекту социальных наук, который, как считают многие ученые, в двадцатом веке пришел на смену проекту философскому. (Последнее я здесь обсуждать не буду, так как считаю, что это не дело голоса *историка*.)

Мне кажется, что много интересного в пространстве между академической историей и философским проектом изучения человека возникло благодаря тем голосам, которые звучат в поня-

той в широком смысле истории наук о человеке. В выражении «история наук о человеке» слово «история» отсылает к такому философскому проекту, который может быть реализован только путем выхода за существующие дисциплинарные рамки. Он в некоторых отношениях похож на идеалистический проект, предшествовавший возникновению современных дисциплин: не потому, что в Новое время, когда складывались современные дисциплины, эмпирические науки о человеке уже некоторым образом существовали, а потому, что история наук о человеке требует от «истории» говорить о человеке как об историческом существе. Проект истории наук о человеке бросает вызов тому взгляду, что ныне в академической истории почему-то называется «историческим», и который часто интерпретирует человека («человеческую природу») как нечто данное. Этот проект также бросает вызов принятым в психологии и социологии понятиям о научности, согласно которым с эмпирической достоверностью познаваемо только настоящее<sup>9</sup>.

Наиболее знакомые мне голоса в истории наук о человеке принадлежат историкам, работающим на пересечении истории культуры, интеллектуальной истории и истории науки; но есть другие не менее важные голоса в далеких от академической истории дисциплинах. Представляясь историком наук о человеке, я помещаю себя — в дисциплинарном смысле — туда, где соприкасаются академическая история, история науки и интеллектуальная история. У этого места нет фиксированных координат: здесь границы дисциплин — социальных образований с определенными практиками и институциональными структурами — разрушаются. Описание исторических обстоятельств, которые привели к возникновению и исчезновению дисциплин, могло бы само по себе стать историческим проектом, причем проектом вполне традиционным; в мои цели, однако, это не входит. В таком описании речь могла бы идти об изменении взгляда на то, что значит писать исторически, и о причинах, приведших к контекстуализации знания. К последним можно отнести следующие: требование объяснять значение высказываний намерениями говорящих и практическим их использованием; желание подогнать исследование знания под обычные стандарты академической истории; стремление обнажить ценностный и политический контекст утверждений о знании; намерение показать, как знание конструируется в чисто социальных категориях и, наконец, квазиструктуралистское предположение о том, что утверждение о знании чего-

либо — это лишь часть дискурса. Эти причины, вместе с вызванными ими изменениями, заметно влияют на голоса в истории наук о человеке.

Я хочу остановиться на одном важном аспекте вопроса «Кто говорит?» — индивидуальности. В современной культуре слишком легко изобразить речь как индивидуальную игру одного из участников академического рынка, которая, в зависимости от спроса, может быть либо услышана либо проигнорирована. Несколько героических голосов — ярким примером здесь служит Фуко — уже сами стали каноническими и дали другим слова, чтобы нарушить молчание, которое, как казалось, было наложено практиками эмпирических дисциплин. Тем не менее, даже на академическом рынке есть другие причины для того, чтобы ответ на вопрос «Кто говорит?» становился все более индивидуальным и даже личным. Одна из них — это разрушение мета-нарратива и таких интеллектуальных проектов, которые надолго удерживали внимание всех исследователей в пределах одной дисциплины. Теперь у историков науки не принято говорить о приближении к «границе объективности», у гражданских историков — об «истории англоговорящих народов» или «подъеме рабочего класса в Англии», а у историков идей — об истории как «примечаниях к Платону». Радикальные историки больше не говорят о «диалектике истории», а либералы — о прогрессе в результате «реформ». Из-за того, что такие мета-нарративы потеряли убедительность, академическая история только выиграла. Ведь альтернатива великим темам — это частные и локальные события, писать о которых возможно, только если центральным предметом исследования становятся эмпирические подробности. Результат — такая история, которую пишут для самих себя академические историки, озабоченные стандартами исследования первоисточников. Именно эти стандарты, согласно которым исторические высказывания получают свое значение из соотнесения референций высказывания с прошлым, более всего прочего определяли голос в магистральной истории, а позднее также в истории науки и интеллектуальной истории.

Без господствующего мета-нарратива речь, чтобы быть чем-то большим, чем простой набор утверждений (как вошедший в поговорку список сданного в прачечную белья — метафора, лучше всего, по утверждению скептиков, подходящая для описания конечного результата работы историка), должна быть превращена в нарратив актом индивидуальной воли. Эта «воля», конечно же, руководствуется рядом нарративных

образцов, но каждый образец имеет небольшую область приложения и аудиторию. Всеобъемлющих стандартов, на основе которых можно было бы судить о значении какого-либо частного образца, не существует. Решение о том, какую историю рассказать, нужно принимать каждый раз заново.

Приученные соблюдать осторожность и умеренность в высказываниях, большинство исследователей чувствуют себя в большей безопасности, когда выбирают тот же нарратив, что и другие, особенно если они при этом уверены в том, что этот нарратив отвечает их профессиональной практике. Такой выбор вызвал к жизни много хороших исторических работ. Но в том пространстве, где встречаются история, история науки и интеллектуальная история, и в особенности там, где совершается нечто, называемое историей наук о человеке, доминантного образца просто не существует. Как не существует ни установившегося профессионального языка, ни значительной группы практикующих историков, способных составить новую профессию, ни богатого спонсора или уже готовой аудитории. Говорящий в этом пространстве голос всегда индивидуален и произволен. Конечно, можно, сделав вид, что голос у этой области уже есть, попытаться говорить так, как если бы это пространство принадлежало установившейся дисциплине — истории или социальным наукам. Такое утверждение, однако, также будет индивидуальным и произвольным, поскольку пространство между историей, историей наук и интеллектуальной историей — это оспариваемая территория.

Многие британские историки усвоили определенный и высокоценимый голос. Он ясен и не требует словарей или комментариев. Этот голос обычно выдает себя за прозрачный, ничем не усложненный отчет о прошлом — несмотря на то, что сами историки не советуют студентам писать «нарратив», под которым они понимают хронику. Убедительность исторических работ лежит как правило не в анализе понятий или языка, а в понятности их нарратива. Абстрактный и рефлексивный язык часто неявно, а иногда явно, маргинализован как чуждая истории «теория» и изображается как каприз или препятствие для написания истории. Историки считают, что ни один ученый-гуманитарий или теоретик культуры не может с убедительностью написать о «начале Первой мировой войны» или об «эпохе Просвещения». Сами они ищут причины событий, но используют для этого только язык обыденной, неформальной каузальной атрибуции, несмотря на выдвигавшийся аргумент (достигший наибольшей популярности

в 1970-е гг. в эконометрике) о том, что история должна стать более похожей на социальную науку и проводить систематическое исследование. Языком знания в истории обычно выступают не «научные» формы эмпирической социальной науки, а нарратив<sup>10</sup>.

Как я уже заметил, поскольку историки — это очень большая и разнородная группа, говорить о них вообще, даже если мы ограничимся только академической дисциплиной, было бы тенденциозно. Что касается истории науки и интеллектуальной истории (это же можно сказать и, например, об истории женщин), то их язык, как правило, не выдает идей и ценностей авторов, что еще более усложняет нарративную форму. Ведь там, где исследуются развитые системы репрезентаций (научное знание, гендерные представления, художественные течения и т.п.), историки обычно более открыты для теории, словаря и риторики абстрактного и рефлексивного голоса. Интеллектуальная история и история науки открыты для теории, поскольку их предмет — это рефлексивное и теоретическое конструирование системы значений. О значении же невозможно писать без рефлексии по поводу голоса пишущего и без ссылки на более ранние конструкции. Герменевтика не допускает наивного голоса. В результате в истории значений часто используется чуждый магистральной истории голос. Это демонстрируют многие работы по истории наук о человеке, в частности те, которые публикует журнал *History of the Human Sciences*. Поскольку же сама категория «науки о человеке» противоречива и требует междисциплинарного исследования, работающие в этой области историки не могут и не хотят для ясности нарратива выносить теорию за скобки<sup>11</sup>. В науках о человеке голос историка — это часть дебатов об их предмете. То же можно сказать о многих других голосах в более широкой области — истории науки.

Есть еще одно интересное различие между интеллектуальной историей (включая историю науки) и магистральной историей. Оно касается статуса знания в эмпирической культуре, в которой идеи и знание не обладают той же степенью существования во времени и пространстве, что и события социальной, экономической и политической жизни<sup>12</sup>. В отличие от событий материального мира, идеи и знание не считаются связанными между собой «естественным путем» и, следовательно, не укладываются так «естественно», как первые, в нарративные формы. С исторической точки зрения, это различие между идеями и событиями ответственно за разницу в том, как пишут интеллектуальные и магистральные историки. Интеллектуальные историки накладывают

нарративные структуры на свой предмет, магистральные истории ощущают присутствие нарративной структуры в самих событиях. С философской точки зрения различий между событиями и идеями нет; тем не менее, на уровне практического опыта историков оно достаточно реально.

Я хочу продолжить обсуждение голоса, прокомментировав свой собственный. Как автору обобщающей работы по истории наук о человеке, мне приходилось много над этим размышлять, хотя неизвестно, в какой степени мои личные размышления касаются всех остальных. И все же если, как уже говорилось, у каждого пишущего на пересечении истории, интеллектуальной истории и истории науки есть свой личный голос, то дискуссия рано или поздно должна перейти на личности. Поэтому я скажу о своих целях, о той манере письма, которая помогает мне создать понятный исторический нарратив, и о своем способе использования языка. Цели, нарратив и язык отделить друг от друга невозможно.

На самом деле задача создать понятный неспециалистам нарратив похожа на квадратуру круга: для этого нужно говорить голосом, в котором рефлексия была бы вынесена за скобки. В то же время, текст должен быть рефлексивным, так как я хочу показать, что, в силу законных и, возможно, необходимых причин, история наук о человеке — это оспариваемая территория. Чтобы остаться историком наук о человеке и в то же время быть понятным, нужно говорить обеими сторонами рта — быть рефлексивным с помощью языка, который выглядит нерефлексивным. В этом двустороннем требовании нет логического противоречия, оно предъясняется только к риторике. Поэтому единственным ответом будет взять и сделать это. О результатах не мне судить, скажу лишь, что пришлось долго биться над тем, чтобы найти рефлексивный голос, который тем не менее имел бы прозрачность хорошего исторического письма — письма, которое риторически рисует картину объективного прошлого как свою референцию. Эта композиционная задача — обратная сторона другой: отдать должное разнообразию взглядов в науках о человеке. Я хочу, чтобы мои читатели не считали бы разноголосицу взглядов препятствием на пути создания науки, а приняли бы ее как внутреннюю предпосылку для последовательной саморефлексии. Ясно, что такое решение исходит из вполне определенных этических и политических ценностей.

Надеюсь, здесь будет уместным упоминание о некоторых моих решениях при выборе стиля и языка. Каждое из них можно оспаривать, но спор только стимулирует дебаты о целях моей работы



и ее языке. В своей книге я пытаюсь ответить на вопрос, почему многие люди не считают науки о человеке естественными науками и, следовательно, почему история наук о человеке не просто добавляет к естественным наукам новый предмет — человека. Там же я объясняю, почему дебаты о подлинном человекознании неотделимы от рефлексии обстоятельств жизни разных людей, и почему интеллектуальный прогресс не может поставить на этих дебатах точку. Но, объяснив мои цели во введении к книге, я затем отставляю в сторону теорию и рефлексивный язык и даю слово голосам других, «голосам прошлого». Для этого требуется, насколько возможно, исключить жаргонные слова, означающие теорию и абстракцию: слова, оканчивающиеся на «изм» и «ость», как названия философских традиций («эмпиризм») или качеств («научность»); такие слова, как «проблематика», «фукодианский», «дискурс»; эпитеты, рассчитанные на демонстрацию рафинированности авторского голоса или научной достоверности («нюансированный»). Решение исключить эти слова существенно для предмета, так как они часто относятся к тому, что само требует исторического объяснения (как, например, в выражении «британская эмпирическая традиция»).

Я пишу не в академической манере — «X сказал по этой теме то-то, но в этом отношении он/она не учли мнение У и т.д.» — а в утвердительной модальности: вот описание, вот как обстояло дело. Я пришел к выводу, что читателю нет дела до трудностей моего исследования или изложения, поэтому и убрал следы того, каким способом пришел к сказанному. Результат — чувство неловкости, так как я говорю с уверенностью о вещах, которые знаю, как мне кажется, только поверхностно. Несмотря на все эти усилия, мои сомнения и оценки проскальзывают в тексте. Это даже дало повод одному из читателей потребовать для придания тексту большей авторитетности удалить все авторские «Я».

Боюсь, что эти комментарии создадут у читателя впечатление, будто я высокомерно считаю, что предназначенный для неспециалистов нарратив может включать только эмпирические утверждения. Это совершенно неверно. Верно лишь то, что и аналитические различия, и концептуальные определения, и утверждения о лежащих в основании знания ценностях и проблемах могут быть сформулированы простыми предложениями и без жаргона.

Хотя я и историк, меня интересуют аналитические, концептуальные и ценностные вопросы, вызванные тем, что предмет истории науки — это знание и ценности. Несомненно, этим моя

работа отличается от многих в академической истории (об этих отличиях мне сообщают мои студенты); конечно же, различия отражают наши разные цели. Как уже упоминалось, голос историка — это нить, на которой держится как нарратив, так и прошлое как таковое — предполагаемая преемственность, поддерживаемая, хотя бы чисто риторически, людьми и событиями за пределами текста. В отличие от этого, нить моего голоса — это абстрактные и теоретические, как я полагаю, философские вопросы, которые я, хотя и историк, открыто использую в структуре и сюжете моего нарратива о прошлом. Наиболее общий из этих вопросов: создает ли человек — предмет истории наук о человеке — себя сам или же он создан Богом или природой? Мой сюжет как историка знания связан с вопросами об условиях знания, и поэтому мой подход кардинально отличается от сюжетов, написанных так, как будто они даны объективной реальностью событий<sup>13</sup>.

На деле поставленный по ходу написания истории вопрос о данности/созданности человеческой природы позволяет читателю увидеть прошлое как процесс создания людьми самих себя — таких, какими мы себя представляем — и связать историю и самопознание. В этом вопросе я стою на вполне определенной точке зрения — той, которая в прошлом ассоциировалась с историческим идеализмом более, чем с эмпиризмом. Все историки с необходимостью занимают определенную позицию. В конечном счете, как пишет исследователь, теория «дает обоснование некоему утверждению на основе материала, который придает этой теории правдоподобность. На самом деле, функция теории — обосновать понятие правдоподобности как таковое. Без такого обоснования, [исторические работы] ... могут опереться только на «здравый смысл»<sup>14</sup>. Разница между магистральной и интеллектуальной историей возникает тогда, когда эта позиция является лишь внешней, риторической частью голоса. В работах интеллектуальных историков и историков науки философская позиция часто очевидна (тогда она называется «теорией»), в то время как во многих исторических работах это не так (и тогда они называются просто «историей»)<sup>15</sup>. Интересно, однако, много ли историков опирается только на «здравый смысл»?

Как и в других работах по интеллектуальной истории, в моем тексте заметен интерес к локальным и небольшим по масштабу вопросам. Я спрашиваю, например, о том, существовала ли в семнадцатом веке концепция «социального», в чем разница между словами «страсти» и «эмоции», можно ли сказать, что Спино-

за, вопреки своим намерениям, продемонстрировал невозможность аподиктической науки о человеке, и что такое эпоха Просвещения. В моей работе нарратив структурируют не так называемое прошлое, а именно эти вопросы, и в результате мой голос оказывается слишком далеким от академической истории — но только лишь от нее.

Стоящий перед проблемой рефлектирующей философской истории, легко может почувствовать себя Икаром, так нагрузившим руки, что он неспособен оторваться от земли. Задача слишком велика. Поэтому я возвращусь к той идее, согласно которой голос в истории наук о человеке возникает как «волевой акт». Это может быть понято в двух смыслах. Первый смысл продиктован как существованием разнообразных практик в пространстве между историей, интеллектуальной историей и историей науки, так и отсутствием общепринятой теории исторического знания и разногласиями по поводу того, что могло бы служить подходящей репрезентацией человека. В отсутствие системы координат позиция утверждается с помощью волевого акта, индивидуальных суждений, каждое из которых может быть пересмотрено. На деле ситуация требует меньше героизма, чем я это здесь представляю, поскольку каждый находится в более или менее одинаковых обстоятельствах, и поскольку существуют образцы работ и диалог между историками. Но нет ни единой манеры письма, ни единственно «правильного» голоса; голос каждого всегда в какой-то степени «произволен».

Отсюда вытекает вопрос о последствиях того, что освоение пространства истории наук о человеке шло в том, а не другом направлении. Если, как утверждали критики историй отдельных научных дисциплин, категории этих дисциплин невозможно спроецировать назад в прошлое, то как мы можем решить, что будет предметом истории?<sup>16</sup> Отказ от колонизации прошлого с позиций современных дисциплин (например, отказ от того, чтобы считать Аристотеля «психологом»), как кажется, оставляет историку только локальный и частный голос, пригодный лишь для ограниченных исторических целей и для какого-то одного исторического контекста. В самом деле, многие работы по истории гуманитарных наук представляют собой небольшие по масштабу исследования, каждое из которых имеет свою собственную форму и методологию. Трудно сказать, соотносятся ли между собой эти работы и можно ли отнести их к одной и той же области истории. Еще труднее представить, как могут быть ассимилированы и составлены единую кар-

тину работы, которые имеют отношение к данной области, но написаны за пределами истории наук о человеке. Как правило, звучащие в этой области голоса не синтетические, общие и глобальные, а аналитические, частные и локальные.

Второй аспект работ, требующий волевого акта, также следует из недостаточности оснований и отсутствия явных прецедентов. От индивидуального характера голоса — того, как автор использует язык и риторику, зависит, будет ли у этого автора не только широкая, а вообще какая-либо аудитория. Чтобы удержать вместе то, что иначе затерялось бы в плохо очерченном социальном пространстве, нужно произвольно применить все приемы синтетического языка и рассказа. В подобной ситуации может оказаться любое речевое послание, но перед историей наук о человеке проблемы поставлены таким образом, что их, кажется, невозможно обойти.

Какой же нарратив подойдет для *общей* истории наук о человеке? Я встретился по крайней мере с одним утверждением о том, что вообразить такой нарратив способен только безумец, как только безумец может поверить в возможность синтеза огромного количества тем. К тому же, эти темы не исследованы в деталях, а если такие исследования и проводились, обобщить их — значило бы потерять их смысл.

Мне, тем не менее, кажется, что этот взгляд ошибочен. Он предполагает, что исследование может быть только одного рода или уровня — детальным, точным и полным анализом данной темы или текста. Это неверно, поскольку при этом не учитываются возможности возникновения новых предметов путем соединения ранее существовавших областей, как это уже было в прошлом (например, возникновение математической астрономии и физики движения в семнадцатом веке или эволюционной биологии в девятнадцатом). Существует синтетическое исследование, как и синтетические естественные науки. Даже если исторический синтез не может удовлетворить условиям детального, точного и полного исследования, он может удовлетворить требованию достоверности. Если же синтетический голос не отвечает предъявляемому к достоверному историческому высказыванию критерию соответствия в той степени, в какой этого требуют историки, он тем не менее может отвечать критериям внутренней связности (когерентности) и понятности (интеллигибельности). Очевидно, что понятность зависит также от способности автора создать нарратив и способности аудитории использовать все богатства языка.

Когда-то у истории науки был чрезвычайно увлекательный сюжет — открытие истины. Икар пристегнул крылья, взлетел в небо и добыл знание и свет. Какой бы ни была судьба этого сюжета в истории науки, для истории человекознания он никогда не подходил, не дав ни одной хорошей истории. Сказать, что психология, социология, политические науки или экономика открыли истину, всегда требовало от тех, кто делал это для ушей начальства, определенного нахальства и изобретательности. Гораздо уместнее здесь первоначальная версия мифа об Икаре. Однако, взять этот миф буквально в качестве нарративного сюжета было бы не только слишком моралистично, но и грозило бы опасностью антиинтеллектуализма.

К счастью, в самом центре традиции исторического повествования есть такая форма, которая, кажется, была предназначена для истории наук о человеке как коллективной работы по самопознанию. Форма эта — «поиск». В ней есть позитивная динамика открытия, захватывающая дух авантюра полета, и в то же время, нет гордыни, свойственной для веры в то, что мы можем выйти за пределы условий человеческого существования и постичь истину. Цель поиска — идеал; добродетель, или наука, заключается в *качестве* жизни и в той увлеченности, с которой стремятся к идеалу. Когда последний, кажется, вот-вот будет достигнут, можно быть уверенным, что случится что-нибудь еще, и поиск нужно будет продолжить. Поиск как нарративная форма в науках о человеке — не что иное, как самопознание и самосоздание человека. Это возвращает нас к обсуждаемому ранее разрыву между академической историей как голосом прошлого и (за неимением лучшего выражения) философской историей, то есть таким голосом, с помощью которого мы создаем самих себя как исторических существ. Поиск дает сюжет для голоса, который надеется в идеале преодолеть этот разрыв. Говоря более прозаическим языком, эта форма позволяет историку наук о человеке без неприятной мины собственного превосходства отдать справедливость тем людям, которые посвятили себя поиску истины, и даже заявляли о том, что ее нашли. В то же время, эта форма дает историку внешнюю по отношению к утверждениям ученых об истине точку зрения. Иными словами, эта нарративная форма создает возможность для уважительного отношения к историческим лицам без ненужной почтительности к тому, что именно эти лица считали условием истинности.

Поиск полон благородства. Для того, чтобы выстроить свой голос рядом с таким идеалом, нужна смелость. Цель же создания синтеза требует размышления в подходящей нарративной форме и, как я полагаю, принятия определенных предпосылок. В отличие от голоса учебника, голос, который я имею в виду, не основан на существующем соглашении о границах описываемой области, но может тем не менее придать форму тому, о чем говорит. Такую форму, как я полагаю, дает рассказ о поиске. Упомяну здесь одну, может быть, банальную, но важную для моих писаний вещь: самая серьезная практическая трудность, которая следует из принятия формы поиска — суметь объять достаточное число тем (конечно, не все — это было бы невозможно, «безумно»). Писать синтетично — значит включить весь релевантный материал; в то же время, выделить его — систематизированную и дисциплинарную мысль о человеческой природе — чрезвычайно сложно. Под таким давлением история все время возобновляемого поиска очень быстро вырождается в список — «одна проклятая вещь за другой». В самом деле, исторические работы часто обвиняют в этом грехе; те же, кто, цитируя огромный материал, способен этого избежать, вызывает восхищение. Таково еще одно требование к авторству как акту воли.

В заключение я ненадолго обращусь к важному элементу голоса — «дискурсу» как одному из возможных предметов интеллектуальной истории и истории науки. У понятия дискурса есть достаточные основания, и было бы глупо, как этого хотят историки-эмпиристы, все списать на моду. Когда под лозунгом «К контексту!» историки науки и интеллектуальные историки открыли двери для принятых в академической истории стандартов доказательства и исторически релятивного значения, они все же верили, что их предмет, который те, кого они изучали, называли знанием или даже истиной — особый. Однако, поворот к контексту требовал от историков занять независимую от какого-бы то ни было утверждения об истине позицию. Это побудило неофициально принять центральный принцип так называемой «сильной программы» Дэвида Блора в социологии знания — принцип симметричного объяснения всех утверждений, независимо от того, истинные они или ложные<sup>17</sup>.

Англоязычные писатели считают термин «дискурс» полезным для того, чтобы, вынося за скобки вопрос об истине и включая вопрос о власти и ценностях, обозначить интерес к особому пред-

мету — «знанию». Термин «дискурс» позволяет говорить о языке, знаковых системах и практике, очерчивающих то пространство, в котором утверждения об определенных видах истины делаются согласно принятым правилам<sup>18</sup>. Язык дискурса позволяет описывать человеческую деятельность в ее собственных терминах, не как продукт предшествующей деятельности реальности, а как развитую систему репрезентаций. Историки дискурса отвергают утверждения об онтологии, нередуцируемом статусе «социального» и других возможных основаниях и говорят о претендующих на истину языке, практике и власти.

Далее, когда историки берут своим предметом дискурс, они во всеуслышание заявляют о своем присутствии в науках о человеке, утверждая ценность собственного знания и экспертизы для более широкого интеллектуального сообщества. Если лишенная исторических ссылок теория в науках о человеке настолько суха и абстрактна, что перестает быть релевантной, и если не упоминающая теорию историческая работа настолько нерелексивна, что теряет всякий смысл, то нам нужен теоретический язык для передачи истории. Основанный на дискурсе голос может поэтому стать голосом, с помощью которого будут выражать свое знание о человеке эмпирическая история и социальная теория.

Я начал статью с констатации разрыва между голосами разных историков, отнеся происхождение этого разрыва к времени возникновения академических научных дисциплин и отделения истории самосоздания человека от истории прошлого. Я предположил, что этот разрыв, воссоздается как различие между теоретическими работами и работами без теории. Тем не менее, в пространстве этого разрыва возникает возможность диалога между теоретиками социума и культуры, с одной стороны, и историками, с другой. Я обсуждал возможности и трудности того голоса, который стремится в одно и то же время быть голосом философской и академической истории. Вряд ли история наук о человеке могла бы избежать в конечном счете взаимодействия и с той и с другой. Мы размышляем о нашей истории, чтобы узнать, кто мы такие, и мы пишем историю с тем, чтобы размышлять. Стоящий перед нами вопрос «Кто говорит?» оказывается самым сложным из вопросов.

*Перевод Ирины Сироткиной*

## Библиография

- Ankersmit, F. R. (1989) 'Historiography and Postmodernism', *History and Theory* 28: 137-53.
- Barbu, Zevedei (1960) *Problems of Historical Psychology*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Besnard, Philippe, ed. (1983) *The Sociological Domain: The Durkheimians and the Founding of French Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bloor, David (1976) *Knowledge and Social Imagery*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Blumenberg special issue (1993) *History of the Human Sciences* 6(4).
- Burke, Peter (1992) *History and Social Theory*. Oxford: Polity Press.
- Canary, Robert H. and Kozicki, Henry, eds (1978) *The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Cassirer, Ernst (1955) *The Philosophy of the Enlightenment*. Boston, MA: Beacon Press.
- Clark, Terry Nichols (1973) *Prophets and Patrons: The French University System and the Emergence of the Social Sciences*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Cooter, Roger and Pumfrey, Stephen (1994) 'Separate Spheres and Public Places: Reflections on the History of Science Popularization and Science in Popular Culture', *History of Science* 32: 237-67.
- Danziger, Kurt (1994) 'Does the History of Psychology Have a Future?', *Theory & Psychology* 4: 467-84.
- Gergen, Kenneth J. (1973) 'Social Psychology as History', *Journal of Personality and Social Psychology* 26: 309-20.
- Gergen, Kenneth J. (1982) *Toward Transformation in Social Knowledge*. New York: Springer.
- Gordon, Colin (1990) 'Histoire de la folie: An Unknown Book by Michel Foucault', *History of the Human Sciences* 3(1): 3-26; with 'Responses to Colin Gordon's Paper', *History of the Human Sciences* 3(1 and 3).
- Graham, Loren, Lepenies, Wolf and Weingart, Peter, eds (1983) *Functions and Uses of Disciplinary Histories: Sociology of the Sciences Yearbook*, Vol. 7. Dordrecht: D. Reidel.
- Gutting, Gary (1994) 'Foucault and the History of Madness', in G. Gutting (ed.) *The Cambridge Companion to Foucault*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 47-70.
- Heller, Thomas C., Soma, Morton and Wellberg, David E., eds (1986) *Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Hexter, J. H. (1971) *Doing History*. London: Allen & Unwin.
- Hexter, J. H. (1972) *The History Primer*. London: Allen Lane, the Penguin Press.
- Heyck, T. W. (1982) *The Transformation of Intellectual Life in Victorian England*. London: Croom Helm.
- Hilgard, Ernest R., Leary, David E. and McGuire, Gregory R. (1991) 'The History of Psychology: A Survey and Critical Assessment', *Annual Review of Psychology* 42: 79-107.
- Honneth, Axel and Joas, Hans (1988) *Social Action and Human Nature*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Iggers, George G. (1968) *The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present*. Middletown, CT: Wesleyan University Press.
- Izenberg, Gerald N. (1992) *Impossible Individuality: Romanticism, Revolution, and the Origins of Modern Selfhood, 1787-1802*. Princeton, NJ: Princeton University Press



**Jameson, Frederic** (1981) *The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act*. London: Methuen.

**Kelley, Donald R.** (1987) 'Horizons of Intellectual History: Retrospect, Circumspect, Prospect', *Journal of the History of Ideas* 48: 143-69.

**Kelley, Donald R.** (1990) 'What Is Happening to the History of Ideas?', *Journal of the History of Ideas* 51: 3-25.

**LaCapra, Dominick and Kaplan, Steven L.**, eds (1982) *Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

**Laqueur, Thomas** (1990) *Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

**Lepenies, Wolf** (1988) *Between Literature and Science: The Rise of Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.

**Marwick, Arthur** (1989) *The Nature of History*, 3rd edn. London: Macmillan.

**O'Donnell, John M.** (1986) *The Origins of Behaviorism: American Psychology, 1870-1920*. New York: New York University Press.

**Olby, Robert C. et al.**, eds (1990) *Companion to the History of Modern Science*. London: Routledge.

**Palmer, Bryan D.** (1990) *Descent into Discourse: The Reification of Language and the Writing of Social History*. Philadelphia, PA: Temple University Press.

**Pompa, Leon** (1990) *Vico: A Study of the 'New Science'*. Cambridge: Cambridge University Press.

**Ringer, Fritz K.** (1990) 'The Intellectual Field, Intellectual History, and the Sociology of Knowledge', *Theory and Society* 19: 269-94.

**Ross, Dorothy** (1991) *The Origins of American Social Science*. Cambridge: Cambridge University Press.

**Smith, Dennis** (1991) *The Rise of Historical Sociology*. Oxford: Polity Press.

**Smith, Roger** (1988) 'Does the History of Psychology Have a Subject?', *History of the Human Sciences* 1: 147-77.

**Smith, Roger** (1997) *The Fontana History of the Human Sciences*. London: Fontana Press, and New York: W. W. Norton.

**Staeuble, Irmingard** (1993) 'History and the Psychological Imagination', in Hans V. Rappard et al. (eds) *Annals of Theoretical Psychology*, Vol. 8. New York: Plenum Press.

**Stedman Jones, Gareth** (1996) 'The Determinist Fix and Some Obstacles to the Further Development of the Linguistic Approach to History in the 1990s', *History Workshop Journal* 42: 19-35.

**Stern, Fritz**, ed. (1973) *The Varieties of History: From Voltaire to the Present*. New York: Vintage Books.

**Still, Arthur and Velody, Irving**, eds (1992) *Rewriting the History of Madness: Studies in Foucault's 'Histoire de la folie'*. London: Routledge.

**Stone, Lawrence** (1982) *The Past and the Present*. London: Routledge & Kegan Paul.

**Stone, Lawrence et al.** (1991-2) 'History and Post-modernism', *Past & Present* no. 131: 217-18; 133: 207-13; and 135: 189-208.

**Taylor, Charles** (1989) *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Cambridge University Press.

---

**Toews, John E.** (1987) 'Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience', *American Historical Review* 92: 879-907.

**Vico, Giambattista** (1984) *The New Science of Giambattista Vico*, trans. Thomas Goddard Bergin and Max Harald Fisch. Ithaca, NY: Cornell University Press.

**White, Hayden** (1987) *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

## Примечания

- <sup>1</sup> То, насколько в работе ощутим личный голос автора, заслуживает особого обсуждения, хотя все научные конвенции устроены таким образом, чтобы этот вопрос обойти. Когда я дал согласие написать книгу (R. Smith, *The Fontana History of the Human Sciences*, London, 1997) для аудитории более широкой, чем специалисты в этой области, я обнаружил, что отгалкиваться от научных конвенций при выборе голоса невозможно. Этот выбор заставлял ставить вопросы на каждом этапе, начиная с решения писать о «науках о человеке» в противоположность тому предмету («психология»), который был предложен мне первоначально.
- <sup>2</sup> Наиболее читаемый в Великобритании текст об истории как дисциплине – это, по-моему, Magwick (1989). Для описания истории как ремесла или искусства важна более ранняя работа американского историка J.H. Nexter (1971; 1972). Многие о недавней истории науки содержится в работе Olby et al. (1990), а обзор интеллектуальной истории можно найти у Kelley (1987; 1990). История наук о человеке – сложная область еще и потому, что ее отношения с социальными науками плохо очерчены и постоянно оспариваются, но я оставляю в стороне вытекающие отсюда вопросы.
- <sup>3</sup> См. Stone et al. (1991-92). Более систематично это представлено у Ankersmit (1989).
- <sup>4</sup> Jameson (1981: 102); эту цитату приводит также White (1987: 147), обсуждая принадлежащую Джеймсону марксистскую версию теории об исторической идентичности нарратива. Материалистическую точку зрения социального историка см. у Palmer (1990).
- <sup>5</sup> Часто цитируемый пассаж взят из Vico (1984: 330-31). Основания заявления Вико о возможности науки обсуждает Pompa (1990).
- <sup>6</sup> Фуко был ничуть не против ради определенных целей писать в манере историка (с описанием конкретного случая и доказательствами, основанными на первоисточниках). Все же, выбор им манеры историка всегда был подчинен более широкой цели – разорвать преемственность любой дискурсивной практики и, стало быть, подорвать доверие к ней. Это подчеркивает White (1987: 104-10).
- <sup>7</sup> Возникновение дисциплин в рамках наук о человеке обсуждается в: Graham et al. (1983); Lepenis (1988); O'Donnell (1986); Ross (1991); Clark (1973); Besnard (1983). О возникновении истории как дисциплины см.: Iggers (1968); Heuck (1982: гл. 5 и 6); Stern (1973).
- <sup>8</sup> О современной философской антропологии см. Honneth and Joas (1988). В качестве проекта, не поддающегося классификации в рамках социальных наук, можно назвать работы Hans Blumenberg, а работы Фуко служат примером исторического по содержанию проекта, выходящего далеко за рамки академической истории. См. посвященный Блюменбергу специальный выпуск журнала *History of the Human Sciences* (1993) и комментарии в нем к Colin Gordon (1990), переизданные в: Still and Velody (1992).
- <sup>9</sup> Из этих обобщений есть важные исключения. Например, центральный для современного понимания человеческой природы вопрос о половых различиях и сексуальности был историзован некоторыми историками с наибольшими

- противоречиями; см. Laqueur (1990). Есть также разнообразная литература об «открытии Я» в разные исторические периоды. Для начала см. Heller et al. (1986); Izenberg (1992); Taylor (1989). Исходя из других позиций, социальный психолог Kenneth J. Gergen (1973; 1982) утверждает, что предмет его дисциплины – это, на самом деле, история. Еще до этого находившиеся под влиянием школы Анналов историки обратились к истории категорий субъективного опыта (Barbu, 1960). Недавнюю дискуссию существующих возможностей см. у Staeuble (1993).
- 10 В 1980-х гг., в ответ на требования стать социальными учеными, историки обсуждали «возвращение нарратива». См.: Stone (1982: часть I); Burke (1992). О недавнем прошлом исторической социологии см.: D. Smith (1991).
- 11 Это противоречие между взглядом, принятым в некоторых естественнонаучных кругах, где «науки о человеке» означают биологию человеческих существ, и разделяемым гуманитариями теоретически и исторически ориентированным междисциплинарным подходом к человеческому субъекту. Противоречие это, однако, не фатально: оно, например, отсутствует во французской культуре, где выражение *«les sciences de l'homme»* не вызывает вопросов и не требует комментариев.
- 12 Этот аргумент был подсказан мне моим коллегой Дэвидом Алленом, когда мы создавали новый магистерский курс по истории идей. Тогда требовалось сказать нечто о различиях между историей и интеллектуальной историей.
- 13 Размышляя об этом контрасте, я нашел полезным сделанное Gary Gutting различие между тем, что он называет «идеалистической» историей в духе Фуко и «эмпирической» историей его критиков: Gutting (1994: 62-65). Тем не менее, многие историки помимо Фуко думали о том, чтобы выявить условия знания, и использовали эмпирический материал не как конститутивный для их работ, а в качестве иллюстраций. Классический пример – Cassirer (1955).
- 14 White (1987: 164-5).
- 15 Я не говорю здесь о характерной для 1980-х гг. тенденции интеллектуальных историков называть себя «историками культуры». Хотя ярлык «история культуры» существовал и ранее, но возникновение этой тенденции повлияли культурология и политические дебаты об учебных программах. Эти дебаты свидетельствовали об эгалитарных настроениях, согласно которым надо изучать любые репрезентации знания и верований, а не только те, которые были созданы образованной элитой («мертвыми белыми мужчинами»). Поддерживать границу между интеллектуальной историей и историей культуры казалось невозможным без навязывания политически неприемлемого различия на последовательные, артикулированные системы значений и значения популярной культуры и без того, чтобы произвольно исключить невербальные репрезентации значения. См. Cooter and Pumfrey (1994). Говоря философским языком, «история культуры» кажется привлекательной как следствие проникновения в интеллектуальную историю релятивистской точки зрения, которая внесла неопределенность в вопрос о границах между «интеллектуальными» и «неинтеллектуальными» системами репрезентаций. Все историческое можно обсуждать как часть системы культурных репрезентаций, и поэтому использование термина «история культуры» еще не означает ссылку на какую-то определенную область истории.
- 16 Критику базирующейся на самой психологии истории психологии я дал в: R. Smith (1988). Я согласился писать «общую» историю, выполняя взятое в

результате этой критики обязательство найти форму, альтернативную истории психологии. См. также: Danziger (1994) и историографию вопроса у Hilgard et al. (1991).

<sup>17</sup> Bloog (1976: 8-10, 29-32).

<sup>18</sup> Для историков вопрос о том, «все ли на свете — дискурс», не представляет чрезвычайного интереса. Этот вопрос очень общий — он поднимает фундаментальную философскую проблему, и по этой самой причине его можно оставить в стороне — иначе тот, кто хочет писать как историк, окажется в полной фрустрации. Текст, который «выносит за скобки» такие фундаментальные вопросы на основе не доказательства, а соглашения, может показаться атеоретичным. Несомненно, однако, что теория присутствует во всех текстах, и дело заключается не в том, атеоретичен ли определенный текст, а в том, с какими целями он выносит свой предмет на обозрение. Ответ историков на ту точку зрения, что предметом знания является сам дискурс, обсуждался в связи с «лингвистическим поворотом» в истории (не путать с более ранним «лингвистическим поворотом» в философии); см. Canary and Kozicki (1978); La Capra and Kaplan (1982); White (1987; особенно стр. 26-57, гл. «Вопрос о нарративе в современной исторической теории»); Toews (1987). Многие историки, насколько мне известно, соглашаются с отрицанием релятивистских аргументов Рингером: Ringer (1990). Об исторической критике лингвистического поворота см. Palmer (1990); о критике наследия Фуко — Stedman Jones (1996).